

ЗИМЕНКОВА



есни

русалка

18+

Инна Зименкова

Песни русалки

«Автор»

2026

Зименкова И.

Песни русалки / И. Зименкова — «Автор», 2026

Семнадцатилетняя Катя влюблена в красавца Данилу — любимчика всех девчонок в деревне. Она одна осмелилась сказать ему «нет». За это он и двое его друзей совершают то, что нельзя исправить никогда. Катя бросается в реку. И возвращается в ту же ночь — молчаливая, холодная, чужая. Проходят годы. Её обидчики один за другим гибнут в воде там, где невозможно утонуть. А Катя расцветает нечеловеческой красотой и ждёт того, кто скоро вернётся. Данила приезжает в деревню с невестой, ничего не помня. Но по ночам его преследует беспричинный ужас — и беззвучное пение, от которого стынет кровь. Потому что забыть прошлое нельзя. Особенно если прошлое не забыло тебя. «Вода всё помнит. И она зовёт.» Мистический роман о мести, прощении и той силе, которая живёт в глубине — в реке и в человеческом сердце.

© Зименкова И., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Инна Зименкова

Песни русалки

Глава

ГЛАВА 1. Костёр и шёпот

Лето в Заречье всегда пахло тремя вещами: укропом с огородов, мазутом от моторок и ещё чем-то сладковато-гнилым из воды, когда река мелела к августу. В тот год она обмелела рано — уже в середине июня можно было перейти Ветлугу вброд, не замочив трусы, если идти от песчаной косы до острова, где паслись коровы.

Катя Костина сидела на крыльце с телефоном в руке, но не смотрела в экран. Она смотрела туда, где за баней исчезала пыльная дорога, ведущая к дому Данилы Березина. Семнадцать лет — это возраст, когда любовь похожа на зубную боль: она не отпускает, пульсирует, заставляет скрипеть зубами, и ты готов вырвать её к чёрту, но не можешь, потому что это же часть тебя, чёрт возьми.

— Кать, иди солить помидоры, мать зовёт, — крикнул из сеней младший брат Пашка, вытирая нос рукавом.

— Сейчас.

Не пошевелилась.

Данила приехал из города год назад, после девятого класса. Родители решили перебраться в деревню. Странно, обычно из деревни стремились в город. В Заречье об этом шептались первое время, но потом привыкли. Данила был красив. Не просто «симпатичный мальчик» — а какой-то неправильной, болезненной красотой: тёмные волосы, вечно падающие на лоб, глаза цвета прошлогоднего льда, скулы, которые резали воздух, когда он улыбался. А улыбался он часто. И каждая девушка в деревне от пятнадцати до двадцати пяти думала: это мне, это он мне улыбнулся.

Он и правда улыбался всем. И всем говорил что-то такое, от чего сердце замирало. Ленке Сорокиной сказал: «У тебя косы как спелая пшеница». Та потом три дня не мыла голову. Настьке Пчелинцевой: «Боишься грозы? Я бы тебя не отдал даже грозе». Настька почти плакала от умиления. А Кате он сказал просто: «Ты не такая, как все». И она растаяла.

Три месяца длилось это счастье. Три месяца они переписывались в соцсетях, встречались у колодца, он провожал её до калитки и один раз поцеловал — так осторожно, что Кате показалось: она вдохнула лепесток вишни. Она была младше его на два года, худая, длинноносая, с мелкими веснушками, которые ненавидела, и волосами цвета мокрой соломы. Она считала себя некрасивой. Он говорил: «Ты просто себя не видишь».

Но где-то внутри, на самом дне, там, где интуиция живёт раньше, чем мы учимся говорить, Катя знала: что-то не так.

Вечером на реке собрались почти все. Костёр горел ярко, отгоняя комаров и подвешивая к лицам пляшущие тени. Пиво пили из горла, на телефонах включали музыку, девчонки визжали, когда парни хватали их за талии и тащили купаться в речку, в темноту.

Катя сидела на коряге, поджав ноги, и смотрела, как Данила ходит по кругу. Он всегда был в центре. Сегодня на нём была чёрная футболка, которая прилипала к спине, и старые выцветшие джинсы — он носил их с такой небрежностью, будто они стоили тысячу долларов. Он подходил к каждой девушке, говорил что-то на ухо, та смеялась или краснела, а он переходил к следующей.

— Красавчик, блин, — протянула сидевшая рядом Ленка Сорокина. — Вот почему таким всё можно? Я слышала, он с Риткой Кругловой целовался в субботу. А Ритка замужняя, между прочим.

— Ей двадцать лет, какой замужняя, — лениво ответила Катя, хотя внутри дёрнулось.

— А какая разница? Свадьбу гуляли. Она от Данилы без ума. Да все без ума.

— Я не без ума, — соврала Катя.

Ленка хмыкнула и отхлебнула пива прямо из банки. Ленка была красивой — той самой простой, здоровой красотой, которая нравится всем: круглое лицо, пухлые губы, грудь, которая уже в четырнадцать лет требовала бюстгалтера размера «мама не горюй». За ней Данила тоже ухаживал. И Катя ревновала так, что тошнило по ночам.

— Кать, — раздалось над ухом.

Она вздрогнула. Данила стоял прямо за спиной — так близко, что она чувствовала запах дешёвого парфюма и почему-то укропа. Он улыбался сверху вниз, и в этой улыбке было что-то твёрдое, нетерпеливое.

— Пойдём, пройдемся.

— Я тут сижу, — сказала она, глядя в костёр.

— Ну и что? Я тебя зову.

Ленка подтолкнула локтем: «Иди-иди». Катя нехотя поднялась, отряхнула шорты. Песок прилип к влажной коже.

Они отошли от костра шагов на тридцать, к старой лодке, перевёрнутой вверх дном. Тут было темно, только месяц отражался в воде узкой дрожащей дорожкой. Данила взял её за руку — рука была горячей и сухой.

— Чего ты дуешься? — спросил он, не отпуская.

— Ничего я не дуюсь.

— Дуешься. Я видел, как ты смотрела. Я ко всем подходил, и к тебе вот подошёл. Оцени.

— А я должна оценивать? — Катя попыталась освободить руку, но он держал крепко.

— Кать, ты чего, правда? Между нами же что-то было. Ты меня гонишь, а я не понимаю за что.

— Я не гоню. Я просто... — она запнулась. — Ты с Риткой целовался. С Ленкой тоже. Ты со всеми целуешься.

Данила отпустил руку и вдруг рассмеялся — громко, искренне, как будто она рассказала смешной анекдот.

— О господи, — выдохнул он. — Кать, ты ревнуешь? Это же просто так. Просто по приколу. Они сами лезут. А ты — ты другая. Я же тебе говорил.

— И какая я?

— Ты — тихая. В тебе есть загадка. — Он шагнул ближе. — Когда я с тобой, я... не знаю. Спокойнее что ли.

Катя вдохнула запах укропа (откуда? мылся зеленым мылом? суп варил?) и почувствовала, что ноги становятся ватными. Она слышала, как бьётся сердце. Наверное, он тоже слышал.

— Данила, — начала она.

Он наклонился и попытался поцеловать. Катя отстранилась — резко, почти грубо. Уперлась ладонями в его грудь.

— Нет.

— Что — нет? — голос стал ниже, твёрже.

— Не надо так. Я не готова.

Он отступил на шаг. В темноте было видно, как изменилось его лицо — исчезла улыбка, челюсть напряглась, глаза сузились. Кате стало страшно. Не так, как страшно от грозы или от злой собаки. А так, как страшно от человека, которого ты не узнаёшь.

— Ты меня дразнишь? — спросил он тихо.

— Нет, я...

— Ты думаешь, я буду за тобой бегать? Все вокруг прыгают, а ты — недотрога? — Он усмехнулся и сплюнул в песок. — Дура. Из себя строишь невесту что, а на самом деле такая же, как все.

— Пусти, я пойду, — сказала Катя и пошла к костру быстрым шагом.

— Иди, — бросил он в спину. — Иди отсюда.

Она шла и чувствовала, как горят щёки. Сзади — тишина. Потом шаги. Данила обогнал её, не взглянув, и снова влился в компанию — смеялся, открыл новую банку пива, поставил ногу на бревно. Все смотрели на него. Он был снова весёлым, красивым, лёгким.

Катя села на своё место. Ленка спросила: «Ну что?». Катя покачала головой и уставилась на огонь.

Через два дня Данила перестал писать первым. Ещё через день — отвечал односложно: «ага», «норм», «занят». Катя злилась на себя, на него, на укропный запах, который ей теперь мерещился везде. Она выбросила из головы мысль, что он её обидел, и решила, что сама во всём виновата. Ну дура, ну отвергла, ну чего добились? Хотела чтоб бегал? Идиотка!

В пятницу вечером он появился у её калитки.

Катя выносила мусор, увидела и застыла. Данила стоял в тени черёмухи, руки в карманах, голову чуть набок. Не улыбался.

— Привет, — сказал он.

— Привет.

— Извини меня, дурака. Я вёл себя как... ну в общем, дурак.

Катя молчала.

— Я подумал, — продолжал он, глядя в сторону, — ты на самом деле хорошая. Не как эти. Я просто привык, что... ну, в общем, можно я тебя вечером просто погулять позову? Без ничего. Завтра. По берегу пройдем. Я всё расскажу.

— Что расскажешь?

— Про себя. Почему я такой дурак. Если хочешь.

Сердце снова забилося, заныло. Катя кивнула, сама не веря себе.

— Ладно, — сказала она. — Только до девяти. Мать ругается.

— До девяти. Я зайду в семь?

— В семь.

Он улыбнулся — в первый раз за их разговор. Улыбка была прежней: лёгкой, мальчишеской, с ямочкой на левой щеке. Катя улыбнулась в ответ, хотя внутри что-то настойчиво царапалось. Не надо. Не ходи.

Не послушалась.

ГЛАВА 2. Берег

В субботу к вечеру похолодало. С востока тянуло сыростью, низкие облака зацепились за верхушки берёз, и воздух стал плотным, как перед грозой, но дождь так и не собрался. Катя надела любимое платье — ситцевое, в мелкий белый горошек — хотя было явно прохладно, и мать сказала:

— Дура, накинь кофту. Простынешь.

— Мне не холодно.

— Влюблённым всегда не холодно, — хмыкнул отец из-за газеты.

Катя покраснела до корней волос. Никто не знал, что она идёт с Данилой. Сказала — «с девочками в кино, у Ленки дома». Ленка прикроет, если что.

Ровно в семь раздался стук в калитку. Катя выскочила на крыльцо — и замерла.

Данила стоял в чистой рубашке с длинным рукавом, волосы влажные (только что мылся), от него пахло одеколоном «морской бриз» и чем-то сладким — может, жвачкой. Он улыбнулся той самой улыбкой — лёгкой, мальчишеской, с ямочкой на левой щеке. Катя улыбнулась в ответ, хотя внутри что-то настойчиво царапалось. Не слушайся, дура.

— Идём? — спросил он.

— Идём, — ответила она, хотя голос дрогнул.

До реки от Катиного дома — десять минут тихим шагом: мимо колодца, мимо старой баньки с проваленной крышей, мимо трёх пустующих домов (в Заречье почти все разъехались), потом вниз по тропе через ольшаник, который пах грибами и прелью. Всю дорогу Данила молчал — это было странно. Он всегда что-то говорил: шутил, болтал про всякую ерунду. А тут шёл и иногда сжимал её ладонь, и Кате казалось, что он слегка её тянет, чуть быстрее, чем она может идти. Но она списывала на то, что у него ноги длинные, что он просто торопится, пока не стемнело.

Когда вышли к берегу, Лёха и Витька уже сидели у самой воды. Они ждали их — устроились на песке, курили, кидали камни в реку. Лёха, кривоногий, с вечно потным лицом и быстрыми, мелкими глазами, поднялся навстречу, бросил окуроч в воду. Витька, высокий, сутулый, с длинными руками и глупой улыбкой, которая не сходила с лица даже когда он спал, остался сидеть, неловко поджав колени.

Катя напряглась.

— А они?.. — спросила она, кивнув в сторону друзей.

— А что они? — Данила пожал плечами. — Они не помешают. Компанией веселей.

— Но ты говорил — прогуляемся вдвоём.

— Ну так и прогуляемся. Вчетвером.

Витька глупо хихикнул. Лёха сплюнул. Кате стало не по себе. Она хотела сказать: «Может, не надо костра? Я ненадолго, мать ждёт». Но не успела.

Данила отпустил её руку и вдруг развернулся к ней всем телом. Опустил голову, посмотрел из-под бровей — и в этом взгляде не было ничего, что она узнавала. Ни лёгкости, ни тепла, ни той прежней мальчишеской улыбки.

— Ты чего? — спросила она, отступая.

— А ты думала, я правда извинялся? — спросил он тихо. — Ты, лупоглазая?

Она не поняла сразу. Слово «лупоглазая» долетело до мозга, но смысл не дошёл — как будто она не знала этого слова. Как будто оно было на другом языке.

— Ты чего, Дань? — повторила она, и голос у неё стал тонким, детским.

— А того. Ты меня унизила. При всех. Ты думаешь, я забыл?

— Я тебя не унижала.

— А кто сказал «нет»? Кто оттолкнула? Все видели. Ленка, Ритка, Настька — они потом ржали. «Данила, а эта тебя отшила». Ты, страшила конопатая, отшила меня. — Он улыбнулся, но улыбка не дошла до глаз. — Ты чё, правда думала, что я в тебя влюблён? В такую?

Катя смотрела на него и видела, как из красивых черт проступает что-то уродливое — как будто лицо его стало резиновым и сползает вниз. Она сделала шаг назад, но наткнулась спиной на Витьку. Он подошёл сзади бесшумно — высокий, сутулый, руки висят как плети.

— Не надо, — сказала Катя. — Дань, пожалуйста.

— Что не надо? — он наклонился к самому её лицу. — Мы просто погуляем. Ты же хотела гулять. Вот и погуляем.

Лёха шагнул ближе. Он был короткий, но плотный, плечи — как у мясника, шеи почти не видно.

— Иди к воде, — сказал он. — Быстро.

— Не пойду.

— Пойдѐшь.

Она хотела закричать, но Витька зажал рот ладонью — ладонь была огромной, пахла махоркой и потом. Катя забилась, вцепилась ногтями в его руку, но он даже не вздрогнул. Данила взял её за плечи и повёл к воде — она упиралась, скользила босыми ногами по мокрому песку, но он был сильнее. Намного сильнее. Она и не знала, что он такой сильный.

— Раздевайте её, — сказал Данила, и голос его был спокойным. Ужасно спокойным. Как у человека, который режет курицу на суп.

Они повалили её в холодную воду. Платье в горошек намокло, прилипло к телу, Лёха рвал его с такой яростью, будто оно его лично оскорбило. Катя кричала, но крик уходил в песок, в воду, в трясущиеся пальцы Витькиной ладони. Она кусалась, билась, один раз ударила Данилу ногой в пах — он охнул, но не выпустил.

— Ах ты тварь, — сказал он и ударил её по лицу. Сильно. Так, что мир разлетелся на брызги — красные, чёрные, с белыми звёздами.

А потом всё пошло как в страшном сне, где ты не можешь проснуться, потому что ты уже спишь, а реальность — это тот самый сон. Катя чувствовала холод, боль, гальку, впивающуюся в спину, слышала их дыхание — частое, хрипкое, — и сквозь это — ещё какие-то звуки: вода плещет, ветер шуршит по ольшанику, где-то далеко лает собака.

Она перестала кричать. Не потому что смирилась. А потому что внутри что-то сломалось — не тело, то, что за телом. Что-то отступило в самый дальний угол и сжалось там в комок.

Данила встал первым. Потом был Лёха, потом Витька. Они делали это по очереди, иногда переговариваясь:

— Держи её, брыкается.

— Придурок, не по зубам.

— А ничего такая, мокрая.

— Тише, язык прикуси, а то услышит кто.

Катя лежала на мокром песке, лицом вниз. Платье было разорвано до пояса. Из носа текла кровь — сладкая, густая, мешалась с водой. Она не плакала. Слёзы кончились где-то после второго удара.

Когда они отошли от нее, отдышались, закурили.

Данила стоял над ней. Витька ушёл к воде — мыть руки. Лёха сидел на коряге, курил «Приму» и ухмылялся в темноту.

— Ну чѐ, плачешь, цаца? — спросил Данила. — Будешь теперь умной?

Катя не ответила.

— Слышишь, я спросил! — он толкнул её носком кроссовка в плечо. Она перевернулась на спину. Глаза открыты, смотрят в небо. На небе — ни одной звезды, только сплошная серая вата.

— Живая, — констатировал Лёха. — Не бойсь, не до смерти.

— Смотри на меня, — Данила присел на корточки, взял её за подбородок. Пальцы у него были холодные. — Если кому расскажешь — я тебя урою. Поняла? Не просто убью. Урою так, что искать не будут. Папаша твой алкаш, ментам заявить побоится. А мамаша дура. Поняла?

— Поняла, — прошептала Катя. Тонким, детским, неживым голосом.

— Вот и умница. — Он похлопал её по щеке — почти ласково. — А то хорошая же девочка. Иди домой. Скажешь — с подружками гуляла. Язык за зубами — и всё пучком.

Лёха сплюнул. Витька заржал.

— А может, её ещё раз? — спросил Витька.

— На сегодня хватит, — сказал Данила. — Она всё равно никуда не денется. Завтра у неё выходной.

Они засмеялись. Пошли вверх по тропе. Их шаги долго были слышны: хруст веток, потом голоса — уже громкие, нормальные, как ни в чём не бывало. Витька запел что-то про любовь. Лёха матерился. Данила смеялся.

Потом всё стихло.

Катя лежала на берегу одна. Вода подступала к её ногам — прилив, что ли? На Ветлуге не бывает приливов. Это просто вода пришла, холодная, чёрная, мягкая.

Она села. Тело болело всё, но она не обращала внимания. Посмотрела на реку. Вода будто ждала. Не двигалась, не плескалась, просто лежала и смотрела на неё чёрными глазами, в которых отражались облака.

Катя встала. Пошла к воде. Медленно. Как во сне.

Вода сначала коснулась пальцев ног — холод, от которого перехватывает горло. Потом икр. Потом коленей. Белые коленки дрожали в чёрной воде — смешно, глупо.

Она зашла по пояс. Платье поплыло вокруг неё, как медуза.

— Господи, — прошептала она. — Прости меня.

Она сделала шаг вперёд — там, где песчаное дно обрывалось в яму. Ещё шаг. Вода закрыла грудь, плечи, шею.

Последнее, что она увидела — низкое небо, которое смотрело на неё сверху. Потом она открыла рот, чтобы вдохнуть, но вдохнула воду. Сладковато-гнилую, с песком, с тиной.

Вода пошла внутрь — в лёгкие, в живот, в самую глубину, где сидел тот маленький сжавшийся комок. И комок вдруг — на секунду — разжался. Выпустил что-то тёплое.

А потом погасло всё.

Она вернулась домой в третьем часу ночи.

Мать спала, отец храпел. Катя зашла в дом, прошла босиком по скрипучим половицам, залезла под холодный душ. Вода смывала кровь, песок, тину. Смывала всё, что было на теле. Но то, что внутри — не смывалось.

Она надела чистое бельё, легла в кровать, закрыла глаза.

И улыбнулась.

В первый раз за этот вечер.

ГЛАВА 3. Та, что вышла из воды

Утро началось с чая и скандала.

Катя сидела за кухонным столом, пила из синей кружки с отбитым краем и смотрела в окно. За окном — огород, мокрая от росы капуста, провода, на которых сидели воробьи. Обычное утро. Всё было обычным.

Кроме неё.

— Ты где была вчера? — спросила мать, не глядя на неё. Мать всегда не глядела, когда собиралась ругаться. Она поворачивалась к плите, к раковине, к холодильнику — куда угодно, только не к дочери.

— Гуляла, — ответила Катя. Голос был ровный. Даже слишком.

— До двух ночи?

— До двух.

— Я звонила Ленке. Она сказала, что ты не была у неё. И ни в каком кино вы не были.

Катя отставила кружку. В голове было пусто и чисто, как в выбеленной комнате. Ни страха, ни стыда, ни злости. Только лёгкое, едва заметное удивление: а ведь правда, вчера было что-то. Что-то такое... Неважно.

— Я была на реке, — сказала она. — С Данилой.

Мать наконец обернулась. Лицо у неё было красное, потное — она только что сбегала в сарай за крупой для кур. Глаза узкие, подозрительные.

— С каким Данилой?

— С Березиным.

— С тем, которого из города выслали?

— Его не выслали, он сам приехал.

— Ах, сам приехал. — Мать поджала губы. — И что ж вы делали на реке до двух ночи?

Катя пожала плечами. Очень спокойно. Потом сказала — и сама удивилась, как легко это вышло:

— Целовались. Он теперь мой парень.

Мать замерла. Посмотрела на неё долгим, тяжёлым взглядом. Катя выдержала его — без вызова, без напряжения. Просто сидела и ждала. В кухне пахло жареным луком и старостью.

— Смотри, — сказала наконец мать. — Не доведут эти целованья до добра.

И отвернулась к плите.

Катя медленно выдохнула. Всё. Вопросов больше не будет. Мать отступила — не потому что поверила, а потому что не хотела знать правду. Так всегда: если дочь жива, сыта и не беременна — остальное не её дело.

Отец зашёл на кухню в трусах и майке, почесал живот, взял хлеб. На Катю не посмотрел. Отец вообще на неё редко смотрел — с тех пор, как она перестала быть маленькой и смешной. Теперь она была для него просто силуэтом на фоне окна.

— Хлеб почерствел, — сказал он и ушёл.

Катя допила чай. Поставила кружку в раковину. Пошла одеваться.

В зеркале в прихожей она увидела себя и остановилась.

На шее — синяки. Тёмные, с жёлтыми краями, как осенние листья. На скуле — ссадина. Губа рассечена — чуть-чуть, но видно.

Катя смотрела на это спокойно. Как смотрят на чужое лицо — не своё. Она подумала: надо прикрыть. Взяла с вешалки тонкий шарф, повязала вокруг шеи. На скулу — тональный крем, который остался от прошлого лета (тогда она мазала веснушки, дура). Губа — заживёт.

В комнате она открыла ноутбук, зашла в «ВКонтакте». Данила был онлайн. Она написала ему одно слово: «Привет».

Он ответил через минуту: «Привет».

«Ты придёшь сегодня?» — спросила она.

«Куда?»

«Ко мне. Мама будет на работе. Папа в гараже.»

Долгое молчание. Три точки — печатает. Потом: «Приду. Во сколько?»

«В шесть».

«Окей».

Катя закрыла ноутбук и улыбнулась. Улыбка вышла странная — не её. Как будто кто-то другой дёрнул мышцы.

Она не знала, зачем позвала его. Не хотела его видеть — вообще, никогда. Но внутри, на самом дне, там, где вчера сжался в комок испуганный зверёк, теперь было что-то другое. Холодное. Терпеливое. Оно ждало.

Он пришёл ровно в шесть. Стоял на крыльце, переминался с ноги на ногу, не знал, куда деть руки. Красивый — даже сейчас, даже когда в глазах вина пополам со страхом. Белая футболка, чистые джинсы, волосы влажные — опять мылся перед выходом. Чистоплотный насильник.

— Здравствуй, — сказала Катя.

— Привет.

— Проходи.

Он зашёл в дом, остановился в коридоре. Нюхал воздух — как собака, которая чует опасность, но не понимает, откуда.

— Ты одна?

— Одна.

Она повела его в свою комнату. В комнате было душно, пахло старыми обоями и высохшими цветами, которые стояли в банке на подоконнике. Катя села на кровать. Данила остался стоять у двери.

— Ты чего звала? — спросил он. Голос чуть хриплый.

— Поговорить.

— О чём?

— О том, что было.

Он помолчал. Потом усмехнулся — та самая кривая ухмылка, которая когда-то казалась ей обаятельной. Теперь она видела в ней только скованность, страх, животную потребность удержать контроль.

— Было дело, — сказал он. — Ты чё, ментам заявить хочешь?

— Нет.

— А чё тогда?

— Я хочу, чтобы ты знал. — Катя посмотрела ему прямо в глаза. — Я не скажу никому. Никогда. Но ты будешь помнить об этом. Ты — будешь — помнить. Понял?

Данила напрягся. Улыбка сползла.

— Ты чё, угрожаешь мне? Страшила конопатая?

— Нет. Я просто говорю.

Она встала с кровати, подошла к нему близко — так, что он почувствовал запах её волос. Они пахли рекой. Странно — она мыла их сегодня шампунем, но запах остался. Вода не отпустила.

— Ты смешная, — сказал Данила, но голос дрогнул. — Вся такая таинственная. А я знаю тебя. Ты — ничего. Ты — пустое место.

— Возможно, — кивнула Катя. — А теперь уходи.

Он не двинулся.

— Иди. Уже всё.

Он хотел что-то сказать — наверное, ещё что-то обидное, чтобы вернуть себе власть, — но не нашёл слов. Развернулся и вышел. Хлопнула входная дверь. Шаги на крыльце — и тишина.

Катя подошла к окну. Он шёл по улице быстрым шагом, почти бежал. На углу достал сигарету, закурил, оглянулся на её дом.

Она стояла у окна, смотрела на него и улыбалась. И вдруг заметила: на стекле, на том месте, куда она дышала, остался иней. В середине июня.

Она провела пальцем по стеклу. Палец был холодный.

Катя посмотрела на руку. Потом убрала её за спину.

Ничего страшного. Так кажется.

Ночью она не спала. Лежала на спине, смотрела в потолок и слушала, как в груди что-то плещется. Не сердце — нет. Что-то другое. Вода. Внутри неё была вода.

Она села на кровати. Встала. Босиком прошла по полу — доски не скрипели. Когда она шла, они молчали, будто боялись.

Вышла на улицу. Ночь была тёплая, луна полная, такая яркая, что видно каждую травинку. Катя пошла к реке — не думая, просто ноги сами понесли. Через огород, через калитку, по тропе мимо баньки, вниз, к ольшанику.

Она шла и чувствовала, как тело становится лёгким. Невесомым, почти прозрачным. Кожа светилась в лунном свете — бледная, с синим отливом.

Река ждала её. Вода была спокойная, гладкая, как зеркало. Катя разулась — босиком на песке было приятно, прохладно. Ступила в воду.

Вода обхватила щиколотки — тёплая, ласковая. Не как вчера. Вчера она была холодной, злой, чужой. Сегодня — своей.

Катя зашла по колено. По пояс. По плечи.

Когда вода коснулась подбородка, она остановилась. Посмотрела на луну. Луна смотрела на неё. И вдруг — откуда-то изнутри, из самой глубины, где жила теперь вода, — поднялась песня.

Она не пела ртом. Она пела всем телом. Каждая клетка вибрировала, каждая капля крови отзывалась на этот звук — высокий, тонкий, похожий на плач или на смех. Никто не мог его услышать. Только река. Только луна. Только мёртвая тишина, которая вдруг стала живой.

Катя открыла рот. Из него не вырвалось ни звука. Но вода вокруг неё запульсировала — пошли круги, сначала маленькие, потом большие, потом такие огромные, что они дошли до берега и вернулись обратно.

Она вышла из воды через час. Волосы висели мокрыми сосульками, платье прилипло к телу. На губах была улыбка.

Дома она не вытерлась. Легла в кровать мокрая, прямо на простыни. Уснула мгновенно — и спала без снов.

А утром мать сказала:

— Что-то ты бледная. Вчерашние синяки прошли?

Катя подошла к зеркалу. Синяков не было. Ни на шее, ни на скуле. Губа зажила. Кожа была чистая, ровная — и слишком белая. Белая, как молоко, как мел, как дно реки, куда не проникает солнце.

— Наверное, просто выпалась, — сказала Катя.

Мать перекрестила её. Машинально, как крестят чашку перед тем, как налить в неё кипяток.

Катя улыбнулась. Внутри плескалась вода.

ГЛАВА 4. Первый год

После той ночи, когда Катя вернулась из реки мокрая и без единого синяка, в ней что-то сломалось. Не сразу — как трещина в стекле: сначала тонкая, незаметная линия, потом она ползёт дальше, ветвится, и однажды стекло рассыпается.

Первые недели она ходила как в тумане. Мать думала — шок. Отец — капризы. Ленка Сорокина звонила, звала гулять — Катя отказывалась. Подруги из школы (те, кто ещё оставался в деревне) заходили в гости — она сидела молча, смотрела в окно, улыбалась чему-то своему.

— Ты какая-то странная, — сказала однажды Света. — С тобой всё в порядке?

— Всё, — ответила Катя. — Просто выросла.

— Из-за Данилы? Ты его больше не видела?

— Нет. И не хочу.

Света не поверила, но спорить не стала.

Катя перестала петь. Раньше она пела везде — в душе, на кухне, за уроками, по дороге в школу. Теперь из её комнаты не доносилось ни звука. Мать заметила через месяц, спросила:

— Ты чего не поёшь?

— Выросла, мам, — ответила Катя, и в голосе её было что-то такое, от чего матери стало не по себе.

Катя смотрела на свои руки. Кожа стала тоньше, бледнее, сквозь неё проступали голубоватые жилки. Она проводила пальцами по запястьям — кожа была холодной, даже в жаркий день. Она начала замечать, что чай в её кружке остывает быстрее, чем у других. Что под её ладонями клеенка на столе становится влажной.

Никто этого не замечал. Или не хотел замечать.

Она перестала выходить во двор. Перестала помогать матери на огороде. Сидела в своей комнате, перебирала ракушки — приносила их с реки тайком, по ночам, когда все спали. Ракушек было много: мелких, перламутровых, с острыми краями, гладких как атлас. Она нанизывала их на нитки, делала браслеты, ожерелья. Сначала просто так, чтобы занять руки. Потом заметила: когда она дарит украшения девочкам в школе, у тех что-то меняется. Ленка, получившая браслет из розовых ракушек, через неделю влюбилась в тихого парня из соседнего села — и он вдруг ответил ей взаимностью. Светка, носившая кулон на шее, перестала бояться контрольных и вдруг начала получать четвёрки.

Катя не понимала, как это работает. Просто знала: надо отдать эту ракушку этой девочке, а эту — той. И всё.

Она перестала ходить в школу месяца через три после того, как всё случилось. Учителя звонили матери, мать ругалась, Катя молчала. В конце концов её оставили в покое — зачем заставлять, если всё равно не пойдёт?

В доме стало тихо. Отец, заметив, что дочь почти не выходит из комнаты, сначала ругался, потом махнул рукой. Мать плакала по ночам, но Катя не утешала. Она лежала в темноте, смотрела в потолок и слушала. Что-то плескалось внутри неё. Вода.

Она ждала.

Лёха Морозов жил в городе, в старой хрущёвке на окраине. После того, что случилось на реке, он уехал из деревни почти сразу — устроился на шиномонтаж, снимал комнату у алкоголички тёти Зины. Пил редко, работал много, девушки у него не было — он был некрасив, кривоног, с мелкими быстрыми глазами, и женщины чувствовали в нём что-то ненормальное, хотя не могли объяснить что.

Первые месяцы он не вспоминал о Заречье. Та ночь стёрлась из памяти, как грязное пятно — он не думал о ней, не рассказывал никому, даже не обсуждал с Витькой, когда тот звонил. Всё прошло, всё забылось.

Но в начале весны, через полгода после того дня, к нему пришли кошмары.

Сначала просто снилась вода. Чёрная, неподвижная, без берегов. Лёха стоял по колено в реке и чувствовал, как кто-то смотрит на него со дна. Он просыпался в холодном поту, но не мог вспомнить, кого видел.

Потом вода стала появляться наяву. Однажды он открыл кран, чтобы помыть руки, и из него потекла не чистая вода, а мутная, с песком и тиной. Лёха зажмурился, открыл глаза — текла обычная, прозрачная. Показалось.

Через неделю он обнаружил на полу в коридоре мокрые следы босых ног. Маленьких, узких, женских. Следы вели из ванной в его комнату и обрывались у кровати.

— Тётя Зина, вы мылись? — спросил он хозяйку.

— Я третий день баню топлю, какой душ? — ответила та. — Тебе померещилось.

Лёха вытер пол тряпкой, но на следующий день следы появились снова. Он запер дверь в ванную на ночь — утром следы были внутри комнаты.

Страх приходил медленно, как поднимающаяся вода. Лёха начал пить — не много, но каждый вечер, чтобы отключиться. Это помогало — по ночам он не просыпался, спал как

убитый. Но днём чувствовал на себе чей-то взгляд. Оборачивался — никого. Только тени по углам.

В августе, за месяц до того, как всё должно было случиться, Лёха впервые увидел её. Не во сне — наяву. Он возвращался с работы, шёл через двор, и вдруг замер. У подъезда, на скамейке, сидела девушка в тёмно-синем платье, босая, с длинной русой косой через плечо. Она не смотрела на него — она смотрела на свои руки, перебирала ракушки.

Лёха узнал её не по лицу — по волосам. Тем самым, которые он видел во сне. Он хотел подойти, спросить, но ноги прилипли к асфальту. Девушка подняла голову, улыбнулась — и исчезла. Скамейка опустела. Только влажное пятно осталось на досках.

В ту ночь он пил водку стаканами. Не помогло.

Катя в те дни почти не выходила из дома. Но иногда, по ночам, она просыпалась и чувствовала, что должна встать. Должна идти.

Она шла на реку — всё так же босиком, в одном платье. Садилась на отмель, распускала косу, зачерпывала воду и пела. Не всегда — только когда внутри поднималась та самая вибрация. Тогда она открывала рот, и из него не вырывалось ни звука, но вода вокруг начинала кипеть, рыбы выпрыгивали на берег, а в домах деревни люди просыпались в ужасе сами не зная отчего.

Она не знала, доходит ли её пение до Лёхи. Но чувствовала — да. Каждый раз, когда она пела, где-то далеко, в городе, человек в старой хрущёвке начинал метаться во сне и просыпаться в луже пота.

— Ещё немного, — шептала Катя. — Скоро.

И снова плела косу.

В сентябре, ровно через год после того, как она шагнула в реку, Катя проснулась с чувством, что пора.

Она не знала, откуда это знание. Просто встала утром, умылась, вплела в волосы ракушку — маленькую, белую, похожую на лепесток — и сказала матери:

— Я сегодня гулять пойду. Вечером.

— Куда?

— К реке.

Мать хотела возразить, но посмотрела на дочь и передумала. Катя стояла на пороге, бледная, с огромными глазами, и в её взгляде было что-то такое, отчего матери захотелось перекреститься. Она не перекрестилась — побоялась.

Вечером Катя надела то же тёмно-синее платье, распустила волосы и вышла из дома. Она не пошла к реке — она пошла на северную околицу, к болоту.

Там, за деревней, за полем, начиналось Чёртово болото — место, где даже в самый сухой год стояла вода и где, по слухам, тонули коровы и пропадали люди. Катя села на кочку, поджала босые ноги и закрыла глаза.

— Иди, — прошептала она. — Я жду.

Лёха не знал, зачем пошёл в лес. Он вышел из дома, сел в маршрутку, доехал до конечной, а потом побрёл по просёлку, не разбирая дороги. Его вело что-то — не мысль, не желание, а просто тяжесть в ногах, которая поднималась всё выше, пока не достигла головы.

Он шёл несколько часов. Сначала полем, потом лесом, потом тропой, которую никто не топтал. Болото встретило его тишиной — ни птиц, ни зверей, только хлюпанье под ногами и удушающий запах тухлых яиц.

Он увидел её на коряге. Катя сидела, свесив босые ноги в чёрную жижу, и расчёсывала волосы. Та самая девушка из снов, с того берега. Она была красивой — нечеловечески красивой, с прозрачной кожей и глазами, в которых не было дна.

— Здравствуй, Лёша, — сказала она.

Он хотел повернуться и убежать, но ноги увязли. Вода поднималась — не быстро, но неумолимо. Сначала до щиколоток, потом до колен, потом до пояса.

— Ты что? — прохрипел он. — Это ты?

— Я, — сказала Катя. — А ты помнишь меня?

Он помнил. Всё вдруг вернулось — лицо, слёзы, песок, платье в горошек, которое трещало под его пальцами. Он помнил, как она кричала. Как он смеялся.

— Не надо, — прошептал он. — Прости. Я не хотел. Это Данила. Данила заставил.

— Вы все одинаковые, — сказала Катя. Она перестала чесаться, наклонила голову набок. — И ты будешь первым, кто уйдёт.

Она не пела. Она засмеялась — тихо, беззвучно, но смех этот проник в каждую клетку его тела, и Лёша почувствовал, что его сердце останавливается. Не от страха — от чистого, всепоглощающего ужаса, перед которым смерть казалась избавлением.

Вода поднялась до груди. До горла. До подбородка.

— Нет! — закричал он и захлебнулся.

Тело нашли через два дня. На мелководье — там, где даже ребёнок не утонул бы. Вода была по колено. Он лежал на спине, лицом к небу, и улыбался.

Врач сказал: «Сердечный приступ». Соседям было всё равно, а родителей у него не было.

Катя вернулась домой под утро. Босиком, по росе. В руках она держала белую ракушку — ту самую, что утром вплела в волосы. Ракушка была раскрыта. Внутри, на перламутре, красовалась крошечная капля крови.

Она положила ракушку на подоконник, легла на кровать и уснула — первый раз за долгое время без снов.

Утром мать зашла в комнату, посмотрела на неё и не узнала. Катя похудела за ночь, под глазами залегли тени, но лицо стало ещё красивее — резче, чище, как у фарфоровой куклы. Волосы блестели холодным блеском, а на подоконнике белела ракушка, похожая на раскрытый рот.

— Кать, ты где была? — спросила мать.

— Гуляла, — ответила Катя, не открывая глаз.

— Ты вся мокрая.

— Река, мам. Я люблю реку.

Мать не стала спорить. Но когда вышла из комнаты, перекрестила дверь.

ГЛАВА 5. Второй год

После смерти Лёхи Катя будто заснула.

Не по-настоящему — она ходила, говорила, ела, но делала это так медленно, так нехотя, что мать начала тревожиться. Катя сидела за столом с открытыми глазами, но взгляд её был устремлён куда-то внутрь, в пустоту. Она отвечала на вопросы через раз, а иногда, сказав что-то, замолкала на полуслове и забывала закончить.

— Может, к врачу? — предложил отец.

— Какой врач? — отмахнулась мать. — С девкой что-то не так. Не к врачу её вести надо.
— А куда?

Мать не ответила. Она знала — к бабке, к знахарке, но боялась даже думать об этом. Стыдно.

Катя перестала просыпаться по утрам. Она могла лежать в постели до полудня, уставившись в потолок, и не двигаться. Мать будила — она вставала, умывалась, садилась к столу, но через час снова уходила в комнату и ложилась. Не спала — просто лежала.

Когда пришло время подавать документы в техникум (Катя хотела на ветеринара, любила животных с детства), она сказала:

— Не пойду.

— Как не пойдёшь? — мать всплеснула руками. — Ты же хотела!

— Передумала.

— А что же ты теперь будешь делать?

— Украшения делать, — ответила Катя и показала на окно, где на нитках висели браслеты из ракушек. — Они сами просят.

— Кто просит?

— Ракушки.

Мать заплакала. Катя смотрела на неё без жалости. Она уже не умела жалеть. Внутри неё, вместо сердца, плескалась вода — холодная, равнодушная, которая не плачет и не смеётся. Только ждёт.

В ноябре из дома ушла кошка. Васька, старая, ленивая, которая спала на печке и просыпалась только ради еды, однажды утром не пришла к миске. Мать искала её — звала, обошла двор, заглянула в сарай — нет. Погоревала и забыла.

А через неделю соседка сказала, что видела Ваську у бабки Марфы на другом конце деревни. Сидит на крыльце, мурлычет, гладится.

— Как она туда попала? — удивилась мать. — Васька никогда далеко не ходила.

— А может, чует что? — пожала плечами соседка.

Мать пошла к Марфе, хотела забрать кошку, но та сказала:

— Не пойдёт она к тебе. У вас в доме теперь не кошкино место. Водой пахнет.

— Какой водой?

— А такой. Ты дочку свою спроси.

Мать вернулась домой злая, но Кате ничего не сказала. Боялась.

Катя знала, что кошка ушла. Она не удивилась — животные чувствуют. Васька приходила к ней в комнату в последний раз, села на кровати, посмотрела долгим жёлтым взглядом, потом встала и ушла. Навсегда.

— Прощай, — сказала Катя вслед.

Всю зиму она почти не выходила на улицу. Редко — за хлебом в магазин, и то закутавшись в старую шаль, хотя мороза не чувствовала. Люди шарахались от неё — она стала слишком красивой, слишком бледной, слишком чужой. Белки глаз приобрели голубоватый оттенок, как у тех, кто долго смотрит на лёд. Губы стали почти белыми. Волосы росли не по-человечески быстро — за месяц коса становилась длиннее на ладонь.

— Водяница, — шептали старухи. — В реке крещеная.

Катя слышала, но не обижалась. Она сидела дома, перебирала ракушки, делала украшения и ждала. Ждала, когда наступит срок.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.